

меня на широченную свою спину и переплывает не такую уж и узкую реку. И оставляет на тихой синей-синей воде густые усы, точно небольшой утюжок. И смешно, громко отдувается. Потом мы едим уху, смеемся, отец с Благовым сочиняют по куплету о Красной речке – у кого выйдет лучше. А на той стороне реки – заросли кипрея. И как раз время его самого жаркого цвета. Дядя Коля, помню, всматривается, всматривается в заросли полыхающих цветов и после становится другим, каким-то притихшим, сникнувшим...

А через время я открою сборник Николая Благова «Створы» и прочту стихотворение о кипрее:

Не цветок, не пожар!  
Это память пожаров.  
И повсюду, где мета пожара видна,  
он пылает.

Но слишком уж жарко, пожалуй,  
запылал он в лесах, где металась война...

«Створы», «Свет лица», «Было – не было», «Тракт», «Поклонная гора», «Просыпаются яблони». Какие названия-то книг у Благова мощные, какие большие и раскатистые они! Как о чуде говорил Виктор Кочетков о поэзии Благова, о народном несуетном чуде. «Благов необычайно бережно относится к народной речи... Образный язык народа конкретен, точен в сопоставлениях, зорок в определении сути вещей... Зоркость Николая Благова в сравнениях и метафорах идет от народной традиции...».

Тут вот что, как мне подумалось сейчас, важно. Благов был языковой личностью столь могучей, что под его зорким присмотром сохранялась четкая линия горизонта – непоэзия от поэзии отделялась при Благове как-то сама собой, уходила в тень, пристыженно примолкала. Это касается и Ульяновска, и Саратова. Да и вообще Поволжья. Благов умел оберечь чудо поэзии. Николай Николаевич когда стал главным редактором «Волги» в Саратове, поэтический раздел журнала поднялся особо. Федор Сухов, Мария Аввакумова, Валерий Шамшури, Павел Маракулин, Виктор Лапшин – одни только имена авторов говорят о многом. Помню Николая Николаевича в «Волге», в густых клубах табачного дыма, проглядывающим верстку. «Ба! Пырков! И ты туда же, – журил он отца, как раз ведущего стихотворную рубрику, – строчки правишь! Как сказал автор, так и сказал – так, значит, и быть тому!». Но если в стихах чувствовалась слабинка, невнятица, голая умозрительность, если были они механическими упражнениями в рифмовке, то Николай Николаевич отбрасывал их безжалостно. Он не переносил формализма, игру в слова, полагая, что «слово должно быть кровным». Иногда отец спорил с Благовым, отстаивал тот или другой стих и побеждал в споре. «Закурим и перечитаем давай», – говорил обычно папа. Но в понимании главных вещей они оставались единомышленниками.

Представляю себе, что бы сказал дядя Коля, еже-

ли бы увидел сейчас, когда непонимание поэзии становится воинствующим, когда всякая рифмовка за просто, даже как-то походя, обвешивается литературными орденами с профилями почему-то то Чехова, то Пушкина, то Державина (взяли бы, хоть ради смеха, Булгарина, что ли!), когда среди толп и сомнившихся каких-то совершенно запредельных зарифмованных сборников, сборничков, книг, томов, собраний, наконец, «избранных произведений», среди всех этих пустых звуков теряются и гибнут истинные – редчайшие – поэтические голоса времени, так вот, если бы раскрыл теперь поэт наугад три – четыре первых появившихся стихотворных книжки, то какое сделалось бы у него выражение лица! О, какое!

– Ба! Мужики! Да вы осоловели, что ли! Батюшки мои, да как докатилось-то до такого? Да вы...

Бродяга, научись хотя бы,  
Дабы прикрыть пустую грудь,  
Златые пуговицы ямба  
По-христиански застегнуть...

Вместо многоточия, само собой, пошли бы не одобряемые цензурой выражения. А уж крепкое слово-то дядя Коля жаловал и знал, потому что чувствовал каждую застрешинку живой русской речи.

ценил каждое ее коленце. И коленец бы прибавилось в благовском, и без того богатым, запасе, когда узнал бы Николай Николаевич, что Союз писателей теперь – организация общественная и что нет на свете такой профессии – писатель. А скорее, безо всяких коленец так бы засветил дядя Коля здоровенным своим кулачищем по столу или по тому, что под руку бы попало, что на всю страну бы гул и треск раздался. А и правда, мужики, как мы умудрились потерять то, в сущности не многое, но прочное и надежное, что у нас было? Как и когда закатилось оно за холмы и холмики, незакатное поэзии солнышко? Да, и тучи, случалось, набегали, да еще какие, не раз. И грозы разверзались. И карпов на крючки никто не насаживал и спецполян грибных не засеивал – может, только в каких-нибудь исключительных



случаях? Но кроме шуток – быть писателем значило многое. Удельный вес писательского ремесла уважался обществом. И говоря о Благове, всерьез говоря, без ведческих штудий, не обойти – не объехать вопроса сегодняшней и завтрашней писательской участи. Ситуацию, когда нас просто вывезли как неблагонадежных за воображаемый сто первый километр да так там и оставили, – нужно исправлять любыми путями. Не устану повторять этого. И не устану говорить, что писателям в России пора заключать меж собой мир.

Мы иногда киваем влево или вправо: это писатель не наш. И о Николае Благове мне приходилось слышать: поэт-то крепкий, но почвенник, не из наших. А знаете, что я скажу: духовное разделение, гражданское разделение, эстетическое разделение русского общества очень дорого стоило нашей стране. Точнее,

оно стоило нам страны. «Одно тло остается», – обронил как-то Благов, шерудя колышком в углях рыбацкого нашего костерка и бурча что-то себе под нос. И я долго спрашивал у отца: а что такое это самое «тло»? И вот теперь, кажется, до меня начинает доходить. Трещины, разделяющие писателей, все шире и глубже, и огонь уже виден на дне их.

Пожар гудит напропалую.

Все бревнышки до сквозняка

Процекотал...

А мы пируем...

«Уж кровля, братцы, без князька...»

Нас разделяют, сталкивают на потеху площади, а мы и рады сталкиваться, мы не слышим, как смеются над нами, и левыми и правыми, сталкивающие нас. Потому что писатели – что дети. И Благов, кстати, был прежде всего большим ребенком. Нам предлагают пускать наши жизни по коммерческим литературопроводам. Или окончательно маргинализироваться. Или просто заткнуться. А тем временем русское общество учится жить без поэзии, ибо воинствующее непонимание ее, о котором я сказал выше, есть просто новая форма жизни – не жизни, нет, существования. В России несколько писательских союзов сегодня, и между ними, как между удельными княжествами в «Слове о полку Игореве», сплошные тяжелые распри, гневные взаимообратные отповеди, ссоры. И у меня, признаюсь, такое есть нехорошее чувство, что время от времени кто-то умело подкидывает дровишек в этот адский огонь. А мы, писатели, и не умеем, и не хотим погасить его. И становимся его заложниками.

На Руси,

Детей немых бросив,

Начинают бабы голосить:

Весь народ

На поймах сено косит,

Князь задумал –

Головы косить.

И мало, трагически мало в нашей литературе остается фигур, личностей, которые могли бы противостоят огню отчуждения. Николай Благов был одной из таких. Он «почвенник», говорите? Пожалуй.

Зима стоит – такая россиянка!

Опять кипит невпроворот пурга.

Склонившись,

как над прорубью крестьянка,

Луна полощет белые снега.

А может, все-таки он ближе к противоположному лагерю? Верно и это.

Невыносимый запах псины.

Жор загребуший: хрусть-похрусть.

Вглодались, как бобры в осину,

Похрупывают: «Русь... Русь... Русь...»

Да, нет, нет Николая Благова и никогда не бывало ни в каких станах-лагерях, в лес по грибы он любил

вал ходить, а лучше на Генерале ездить и байки его слушать, но и только. Он поэт во весь рост – и этого великого звания довольно. Поэзия – сильнее политики, вместительнее ее. Потому так и побиваются хрупких стихотворных лесенок. Потому и предпочитают не понимать – не из глупости, а скорее – из умности и осторожности. Из чувства самосохранности. Ведь стихи, особенно такие стихи, которые готовы поспорить со скоростью не звука даже, а света, заставляют останавливаться и думать. И поднимать голову. И непонятно, на какое откровение еще выведут, если пойти за ними.

Именно такие, абсолютно непередаваемые ни на какую логику метафорические сгустки, выдавал Благов незадолго до смерти. Скажу даже так. Поэт всю дорогу шел к этим стихам – заведомо непонимаемым, сжимающимся до атомной точки. Это стихи-взрывы, стихи-шаровые молнии, стихи-прозрения, где каждый поворот стоит времени жизни. Иначе – никак. Иначе – не поднять, не осилить, как осиливал плугом в военном детстве землю, глубоко залегающие пласты образов-мыслей. Глубок, ох как глубок благовский плуг. Предваряя роман Коновалова «Былинка в поле», Николай Николаевич писал, обнаруживая глубинное знание самых важных вещей в нашей жизни: «Стонут мельничные крепи, когда



В сурском походе: В.Пырков, П. Мельников, Н. Благов

снимают с гнезда главный жернов. Откатывают его от мельницы, срубая железные обручи, и замирает усталый круг сходящихся к вечее каменных крыльев. На глазах уходит в землю и вянет камень, покрытый осинными сотами времени и работы. А ведь летом летал когда-то, неслышно плюхая на вбитых в пух хлебных зернах, и сам казался вспухающим от жарыни крутящимся белым ситнышком. Тяжелы и все еще не перемолоты по-доброму литературой события, на которых поднялся роман Григория Коновалова...».

И стихи Благова, лучшие, последние, заветные его стихи – тоже не перемолоты до сих пор, не усвоены и не освоены читателями. И по причине глубоко-залегания, и по надобности пропускать сквозь свое сердце образы и метафоры, и по необходимости тратить на их перемол время и силы. Благов ничего не разжевывал, не встречал читателя готовыми сытными хлебами-караваями с ажурной солонкой поверху. Его соль – грубого помола. Его призыв – вместе с ним идти к мукомольням мыслей и прозрений. И мне очень хочется представить в подборе стихов, сопровождающем эти записи, по существу неизвестного, нового, опередившего время Благова, терпеливо ожидающего нас с вами где-то далеко-далеко впереди. В чем-то неудобного и колючего. Какого-то неуютного. Бередящего затянувшиеся, кажется, раны. То-то и дело, что лишь кажется... А еще болят, еще кровоточат...

Вот прочитайте стихотворение с нездешним названием «Смущение колодца», вызвавшее шквал

критик со всех сторон, целые ряды пародий в областной и союзной печати, череду раздраженных читательских и критических откликов-окриков: да так же нельзя писать! Привожу этот длинный стих целиком, потому что считаю его у Благова одним из вершинных. И вообще полагаю, что в нем, как в прочих вещах этого последнего своего недолгого времени, поэт приблизился к чему-то новому и сильному – новому не только для себя, но и для русской поэзии. Тут-то и нашел-отыскал Николай Николаевич за наглухо отзавешенными ложными звуками свой незаемный, настоящий голос. Он как будто бы смог побывать в затопленном навеки родном Тургеневе, будто бы получилось у него разоткать время назад, чтобы провидеть будущее. Это был взлет, почти никем не замеченный. Благов наметил богатырский путь, по которому пойти – хоть в какую сторону пойти – головушки буйной своей на плечах, как брату-одуванчику, не сберечь-посеять.

Покою обдавая погребным,  
Потемки необстуканно прозябли,  
Поганые – с беспечинкой – грибы  
Ползут по срубам,  
Лижутся по-жабьи.  
В колодезном пустуя терему,  
Бадья набатная –  
На век, на два посуда –  
Бесшумно расчехлившуюся тьму  
Несет, как мышь,  
Вспарившая оттуда.  
Почуя перебойные толчки,  
Ток-токает с коленца на коленце,  
Синюшные набыча кулачки,  
Без солнца,  
Словно зыбка без младенца.  
Оттокала,  
Заспав себя,  
Вода.  
Ленца смущает зеркало колодца...  
– Брат, не гляди!..  
Оттуда никогда  
Лицо твое к тебе не обернется!.. –  
Парное темечко разбередя,  
Пустилась в пляс,  
Пошла гулять над бездной,  
Отшибла память, старая бадья.  
Замешкалась  
Всей болтовней железной?  
Спускаясь по бубенчику до дна,  
Не просто так,  
Не просто, чтоб умыться, –  
Всем серебром дотумкала вода,  
Как на цепи,  
Обмерзнув,  
Удавиться...  
...Здесь ничего не удалось сберечь  
От стужи продувного опекунства,  
Попятным дымом поперхнулась печь.  
Огонь не греет.  
Хлебы не пекутся.  
Стоит старушка –  
Снизка от ветров,  
Наполненная встречей до захлеба.  
На коромысле вспыхнуло ведро,  
Крестом нагнулась –

Запылали оба.  
Семьей ключей за юбкой голоса,  
Колодец спохватился, леденя.  
Опешила и старость перед нею:  
Всю обобрав,  
Оставила глаза...

Да, «здесь ничего не удалось сберечь». В этом ведь и отклик личностной, семейной беды, горькая кипреева память на месте материнского дома – потеря для Благова неподъемная. Но тут и отзыв беды поколенном масштабе. Благов умел говорить широко поколенно, и его давнее горькое слово про «детство ампутированное войной», стало символом для многих и многих. Вот и в последнюю пору стихи поэта были полны предчувствий-обобщений, почти ясных или едва угадываемых обращений ко дню завтрашнему, дума о нем. Дума о нас. Сверхтревожная забота нравственным пределе, который не отстоять уже, понятно, но за который биться, а может и умирать, предается бесстрашно:

Что ты молчишь, затаясь, как Китай,  
Дом мой? Один ты на свете...  
Схлопнемся крыльями!  
Эй, вылетай,  
Ласточка, из-под повети!  
Кто наддает непомерно большой  
Смертной силой оттуда?..  
Долго ль мне маяться с этой душой?  
Вспыхни, рассыпья, паскуда!

Лю-ди... Да где вы?..  
Катитесь ко псам!  
Я вам потеху устрою.  
Дом весь –  
С собою –  
Пуцу к небесам,  
Если открыть не открою.

И чем более грозно, предчувственно звучали стихи Николая Благова, тем уязвимее становился он сам, как будто бы срывал с себя защитные латы, подставляясь под разящие удары. Я вот про кулачишки его здоровенные обмолвился, а ведь, в сущности, он был открыто-беззащитен. Раним. И не мог ничего кроме стихотворной, опять же, мальчишеской отмашки противопоставить злым наветам: «Начинают поскольку... опять // И поскольку пора негрибная, // Кольку, то бишь меня, пропекать, // Уголечки шатром нагребая: // «На косматой башке засеки, // Ты для нас никакая находка. // Это чо, землячок, за стихи? – // Посевную срывают, как водка».

\* \* \*

Благов не обзавелся нужными связями, не продумывал жизнь наперед. Жил ради семьи и ради стихов. Жил наизнос, стараясь уберечь и оберечь слишком многое в жизни. И искренне удивлялся, глядя по сторонам:

Как это вы, открестьясь от детей?  
Чем вы живете?!

От детей – это и от стихов тож. Нарождающиеся белые воротнички были чужды Благову по природе. Благов и номенклатура ну никак не совместимы. Где-то в девяностом примерно дядя Коля прислал нам в Саратов из Ульяновска, куда снова уехал, небольшое письмо, в котором крупным небрежным почерком

на тетрадных разлинейках писал, обращаясь к моему отцу: «Володя! Все тревожнее жизнь, и у тебя, наверно, тоже. Сколько случилось всего. И как забыться душой, как отудобеть?».

К этому времени шла к завершению работа над «Тяжестью плода» – лучшей благовской поэмой. Надо ж такому случиться – умер крестьянин весной, когда все оживает, когда яблоня «горит и тлеет, перекипает у окна». Он, пахарь, век не спал – а теперь заснул навеки. И когда хоронить его стали, внучек, все еще видящий за смертью лишь игру, вдруг засмеялся:

Внучонка,  
Что удушно мешкал,  
Вдруг так улыбка залила:  
По комьям,  
На тепле пригревшись,  
Вдоль гроба ящерка ползла.  
Как внове прорву оттыкая,  
Несобранный, сполошный гул,  
Обратно землю выдыхая,  
Народ от ямы оттолкнул.  
Как в дом стучались по закроям,  
И крикнул,  
Заглянув за край,  
Внучонок:  
«Дедушка, зарюют!..  
Кидают!.. Хватит!.. Вылезай!..»

«Тяжесть плода» – не о гробовой доске, конечно, не о дощечках дубовых неструганых, на которые «ложится нехотя вода», поскольку «смерть – как укрепленье жизни, // как высший замысел творца». И все-таки чем-то необъяснимым, каким-то глухим, тревожным, неумолимым предчувствием наполнена эта пульсирующая колодезная скважина. Всерьез говорить о русской поэзии и русской национальной мысли двадцатого века, о том, как и чем было живо русское слово, о завтрашней его судьбе, и не брать в расчет «Тяжесть плода» – недопустимо, как мне думается. Просто невозможно.

В то же примерно время было создано потрясающее по силе поэтического излучения «Жар Слово», в которое поэт вложил весь – до конца, до самого донышка.

В мир потянуло напролом,  
Когда Жар-птица по ресницам  
Горящим провела пером...  
Вдохнул в сырое тело душу,  
Дал Слово.  
Всей войной одел.  
Припал к земле  
И сны подслушал,  
Нагого в бане оглядел.  
А просвистало – в поле стлала  
Война, пытая дух бойца...  
Стой, перевозчик!..  
Стань, где стало  
Народу больше у Певца!..  
...Какие тайны обживая,  
Всегда сама в себе,  
Одна,  
Ты что же отреклась, живая,  
Душетворящая вода?!

Я бы назвал «Жар Слово» стихами пушкинской традиции, поставил бы их наравне со стихами Твар-

довского. От зимы-россиянки, от «Микулы Селяниновича», от «Плача Ярославны» поэт шел, ведомый небесной рукой, к «Жар Слово».

...В мае, в любимом благовском мае 1992-го, Николая Николаевича не стало. Похоронили его в Крестовом-Городище, на деревенском погосте, как он и хотел. «Дубовый крест, железная ограда, // И над землей песчаный буторок...» – сказал тогда Петр Мельников, поэт-плотник. А отца здесь, в Саратове, попросили написать некролог для «Волги», в которой он уже не работал. Папа сидел на кухне всю ночь и утром, какой-то осунувшийся и побледневший, протянул мне исписанный карандашом лист. Всего несколько предложений, где отец вспомнил их сурские соловоиные походы и признался, что не верит, не может поверить в случившееся. Некролог (а вернее, ответное письмо, которое он так и не успел своему другу отослать) заканчивался так: «Хочется окликнуть тебя: «Николай!» И прислушаться в тревожном ожидании ответа».

Жизнь без поэзии? Без мучений и метаний мысли? Без овражного глухого льда, который и в июле что серебряный слиток? Без нелепых историй? (Ах, Генерал, Генерал, где же теперь наш редакционный «газик»?) Без непродуманности? Без памяти сердца? Без Ивана да Марьи? Без живой воды среди белого камушка? Без Благова и Пластова? Без первого снежка, что звали, нет, поправлось, вот так наивно-романтически, что зовут еще в народе – замерек?

Без тревожного ожидания ответа, который а вдруг да и отаукается где-то на лесном майском черемуховом перепутке? (Знаете, я уверен, и про дядю Колю вспоминая, и про папу своего, и еще про многих и многое, что обязательно – отаукается. Обязательно-обязательно!.. «Было – не было» – вот трагически краткая, но упрямо врезавшаяся в память русской поэзии жизненная вопросная линия на широченной благовской ладони. Пускай даже и не было, а все равно – было. Было... Было!)

И главное – без ласточки из-под повети, той самой, может быть, родной моей, свияжской – как без нее-то? Она и хороша, возможно, она и спокойна, такая жизнь, да только увольте. Уж лучше выбрать ту самую, неверную, Бог знает куда уводящую дорожку. Хоть и рискована, а все ж идти али ехать по ней – в радость.

Но в потяготце,  
Станом сонным  
Уж не владея, –  
Май ведь, май! –  
Раскрылась яблоня с пристоном:  
– Бери-бери!  
Давай, давай!..  
Уж ветви цветом обломало,  
Как яблоками, –  
Явь не явь.  
А яблони все шепчут:  
– Мало! –  
Все просят:  
– Господи, надбавь!

*Благодарим Ивана Владимировича Васильцова  
за предоставленные материалы*